Кондрашин К

24.09.91

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ?

Судьба Кондрашина показательна смешением добра и зла, так характерным для нашего сознания. Утратой ориентиров, соседством логики с непредсказуемостью, воли с паническим безумием, пунктуальности с анархией, щепетильности с предельным эгоцентризмом. Хотя... Позволительно ли строго судить самоубийцу? Можно, наверное, сказать, что Кирилл Петрович Кондрашин умер в декабре 1978 года, и его записка жене была предсмертной. Последующие два с половиной года, что он прожил в Голландии, никак нельзя считать продолжением его пути. Наступил обрыв. А потом — другая жизнь. Другого человека.

«Нина!

Поскольку ты категорически отказалась остаться со мной здесь, на Западе, мне остается только одно—сделать это самому. Прости меня за все то, что я причинил тебе и детям своим уходом. Но я больше не в силах жить в условиях постоянных творческих унижений и ограничений. Я считаю себя достойным не меньше, чем Рихтер или Кремер, иметь право свободного выезда. Если в этом отказывают, у меня нет другого выхода. А двухнедельные подачки выклянчивать я устал.

Я знаю, что в моем возрасте и с моими болезнями моя новая жизнь не продлится долго, и все же решаюсь на этот шаг.

Поцелуй детей. Они взрослые и, наверное, смогут если не простить, то понять меня. Я вас всех люблю, и вы всегда будете в моем сердце.

Прощай и прости. Кирилл».

Это письмо Нина Леонидовна Кондрашина получила в номере амстердамского отеля «Окура», проснувшись и ожидая, когда муж — дирижер Кирилл Петрович Кондрашин, вернется с прогулки и они вместе пойдут завтракать.

Как после выяснилось, Кондрашин пришел в полицейский участок и написал заявление о своем желании остаться в Голландии, где ему гарантируется работа, что могут подтвердить представители оркестра Концертгебау, куда он приглашался в течение одиннадцати лет в статусе, отличающем его от обычного дирижера-гастролера.

Представители Концертгебау были вызваны в полицию, увидели Кондрашина в тюремной камере, как было положено в таких случаях во избежание эксцессов; поговорили с ним, передали письмо от жены, взяли ответное письмо и проехали к ней в отель, не умея скрыть своего, мягко говоря, удивления. Да, они понимали преимущества открытого общества перед закрытым, ценили свои права и сочувствовали тем, кто их не имеет, были информированы о положении в странах так называемого социалистического лагеря куда лучше тех, кто там жил, и само по себе решение Кондрашина остаться на Западе воспринималось ими как вполне понятное. Но вот только форма, в которую он свой поступок облек... Провести целую ночь в полицейском участке, в камере за решеткой — странно как-то добровольно на такое себя обречь. Ведь он же не матрос, отставший от команды, не переметнувшийся агент — у него все-таки имя было, репутация, даже слава. Сказал бы — ему бы помогли, все бы устроили прилично, цивилизованно...

Был декабрь 1978 года. И если на Западе недоумевать могли лишь по поводу формы поведения известного дирижера, у нас в стране, где еще никакими послаблениями и не пахло, потряс сам факт. Отъезды еще не сделались повальными, в каждом случае обсуждались, осуждались безоговорочно по официальной линии, а там, где друг другу доверяли, вызывали споры, рождали версии, наводили на размышления. В случае с Кондрашиным можно было услышать и обывательское, пренебрежительное — мол, с жиру сбесился, все имел, чего еще не хватало? Но и те, кто его защищал, оправдывал, тоже свое мнение выражали. Со временем их голоса делались все слышнее, обретали все большую категоричность: Кондрашин, несомненно, прав, его поступок следует считать героическим, а его самого— мучеником, борцом за человеческие права. Последние публикации в «Огоньке», в «Московских новостях» выдерживались именно в таком ключе. Хотя противоположная точка зрения почти уже не высказывалась, и для большинства, как обычно, легко меняющего свои взгляды, актуальнее стал вопрос, почему же все-таки не все из страны уезжают, а отнюдь не то, что явилось причиной отъезда кого-то конкретного.

О, оснований для взрыва, бунта у него было предостаточно. (Впрочем, как у многих из наших соотечественников). Сорок семь лет из своих шестидесяти пяти он стоял за дирижерским пультом, двадцать четыре года проработав в опере, а в 1960 году, став главным дирижером симфонического оркестра Московской филармонии, которым руководил шестнадцать лет. Пробивал для своих оркестрантов ставки (к моменту его прихода они исчислялись от 100 до 150 рублей), готовил кадры (которые потом перемещались туда, где оплата была выше), расширял репертуар (причем фундаментально, циклами — скажем, сыграл симфонии Малера, Бетховена, Шостаковича, Чайковского, Брамса), коллектив обретал все больший авторитет, все большую известность. Но когда оркестр филармонии праздновал свое 25-летие, Кондрашина, недавно ушедшего в отставку, новое руководство запамятовало пригласить, и в специально выпущенном к юбилею буклете о нем упомянули буквально строчкой. «Забывчивость» была хорошо продумана: в том же буклете цитировались зарубежные рецензии с лестными для оркестра эпитетами, но имя Кондрашина, с которым оркестр зарубежную славу и снискал, опустили, вымарали с бесстыдной ловкостью. Это тоже для нас характерно — страсть унизить того, перед кем только что подобострастно заискивали.

Новое руководство оркестра Московской филармонии с Кондрашиным обошлось вполне в духе времени. И сам Кондрашин в интригах не был новичком: на его глазах из Большого театра убирали Голованова, Самосуда, Мелик-Пашаева. В книге мемуаров, записанных В. Ражниковым до отъезда Кондрашина и вышедших в издательстве «Советский композитор» в 1989 году, маэстро вспоминает о «придворном» театре и его героях-премьерах в манере зощенковского персонажа: когда его туда зачислили, по его словам, «с харчами у меня стало хорошо, как у всех, кто работал в Большом театре». Не меньше внимания уделено ставкам, кому сколько и за что. Интересно? И можно не сомневаться, что все те сведения абсолютно точны, сберегались тщательно все годы. Но только после них как-то невпопад, некстати воспринимается замечание о том, что тогда же «кто-то исчезал, кто-то бывал под следствием... Это не так, как в те тяжелые годы, но подобная чистка шла всегда. У меня впечатление, что это делается совершенно произвольно: для того, чтобы каждый боялся». Самосуд выразился еще определенней: из Большого театра не уходят, в Большом театре или умирают, или арестовывают...

Кондрашин родился в 1914 году, и мать его, и отец, «с родословной вполне в пролетарском духе», работали в оркестре Большого театра. Так что с музыкой Кирилл Петрович был связан с колыбели. А вот что касается общего образования, увы, оно досталось ему в русле процветающих в послереволюционные годы экспериментов, ниспровергающих все, что почиталось прежде: и на педагогических курсах, куда Кондрашин поступил, в ходу было так называемое комплексное обучение по принципу «не бей лежачего». О знаниях учащихся мало заботились, зато в ходу были доносы, публичные покаяния, разбирательства, способные все будущее перечеркнуть. И Кондрашина задело. Спустя почти полвека он помнил свое аутодафе в мельчайших подробностях, никому ничего не простив и уяснив надолго, как это опасно быть обвиненным в мелкобуржуазной психологии, оказаться причисленным к интеллигентам.

Сам Кирилл Петрович говорил о себе, что он «был убежденным и идейным сталинистом... Я считал, что вообще каждый человек должен свою жизнь отдать за благосклонный взгляд этого человека. А впервые у меня лично зародилось сомнение в 1952 году, когда возникло дело о врачах. Тут я подумал, что нельзя поверить в эту чушь». Близкие вспоминают, что XX съезд он пережил тяжело, чувствовал себя потерянным, сбитым с толку, но разочарованным пока только в вожде, в котором он, как многие, обманулся.

Еще в молодые годы у него обнаружился недюжинный общественный темперамент, активность, среди музыкантов не столь уж частая: это все же был довольно инертный в политическом плане слой — артисты, словом... Кондрашина же избрали в партком Большого театра, и вообще он деятельно проявлял себя по партийной линии. А в университете марксизма-ленинизма, организованном при Центральном доме работников искусств, когда ему поручалось отмечать посещаемость коллег, проявлял высочайшую ответственность, абсолютную неподкупность: те, кто занятия пропускал, на его снисходительность зря рассчитывали.

Он вообще по характеру был строг, педантичен, склонен к морализированию, но, казалось, имел на то право — сам никогда ничего не нарушал. Очень ценил обязательность, свои обещания всегда сдерживал. Если кто-то опаздывал, приходил в бешенство, способен был из-за этого перечеркнуть дружбу. Бывает, что достоинства перерастают в недостатки, и чрезмерная добродетель давит на близких, раздражает не меньше, чем порок. Но, как говорится, у каждого своя природа, главное, чтобы был в человеке стержень. В Кондрашине стержень был, были основательность, надежность, уважаемые окружающими.

Но как же тогда относиться к его действиям в декабре 1978 года? Это представляется просто невероятным — не само по себе решение не возвращаться в Союз, а то, как он себя тогда повел: оставил жену спящей в отеле, детей брошенными, в неведении.

С женой, Ниной Леонидовной, он прожил вместе четверть века, обожая, гордясь ею. Не жизнь — роман, с ухаживаниями, шутливой, а порой утомительной ревностью, но его несомненная любовь перевешивала случающиеся размолвки. Вместе ездили на гастроли, и на концертах, дирижируя, он спиной, как уверял, чувствовал присутствие жены в зале, точно угадывая, где она сидит, в каком ряду. И вот эта записка, присланная из полиции в отель, все перечеркнувшая... На следующий день Нина Леонидовна возвращалась в Москву одна: зарегистрировала два билета, на себя и на мужа, будто бы запаздывающего, опасаясь, что, если она во всем признается, ее задержат, начнутся выяснения, расспросы, а дома сыновья, и было бы ужасно, если бы узнали они о поступке отца из чужих уст. Кроме того, сразу по возвращении ей предстояла хирургическая операция, о чем Кирилл Петрович знал, волновался, но очень просил повременить, говорил, может, обойдется... Не обошлось. И мужа рядом не было.

Сыновья заканчивали—один училище, другой университет. Сразу возникли сложности с распределением; кому была охота брать на работу парня, у которого отец на Запад удрал, о чем шумели и в зарубежных газетах, и по тамошнему радио. А если он тоже уедет, зачем подставлять коллектив, ведь такие истории тогда воспринимались однозначно, и все окружение оказывалось под подозрением, виноватыми считались все, кто мог хотя бы предположительно что-то знать... А самый старший сын, от первого брака, работал звукорежиссером на фирме «Мелодия», видел, как кладутся на полку, а порой и размагничиваются пленки с записями отца, попавшего в «черный список». Там, кстати, собралась уже довольно обширная компания из превосходных музыкантов, но надо было дожить до их реабилитации, когда их решат заново издавать.

Кирилл Петрович писал сыновьям письма, держал их в курсе своих профессиональных дел, которые складывались удачно. Его всюду приглашали, расписан концертов был плотным, и он, со свойственной ему дотошностью, не ленился переписывать расписание поездок всем трем мальчикам: Париж — Лондон — Женева — Амстердам... Писал и жене, часто звонил по телефону, хотел, значит, и в этой жизни присутствовать. Хотя в Голландии он познакомился с Нолдой Брукстра, бывшей его переводчицей, а после ставшей подругой, и даже, так сказать, душеприказчицей во всех его делах. И протоколы в полицейском участке, куда Кондрашин явился, заполнены были с ее помощью, и еще многое она ему подсказывала, помогая адаптироваться к капиталистической действительности. Но до последнего дня Кирилл Петрович продолжал писать письма своей законной жене, делясь тем, о чем с Нолдой ему откровенничать было неудобно. О своем одиночестве, например. О том, что в Голландии прекрасной, уютной, для него — «все чужое». Словом, не так ему хорошо, как, казалось, должно было бы быть...

Прежде он приезжал в Голландию хотя и часто, но накоротке и в положении гостя, ожидаемого, почитаемого. Город оклеивался афишами с его именем, каждое выступление рецензировалось подробно. Словом, это был праздник, как и у нас, когда приезжает знаменитый гастролер, и, кажется, такое событие ну никак нельзя пропустить, и ажиотаж порой привносится даже излишний...

И вот он стал, хотя и не гражданином (гражданство голландское он так и не успел получить), но жителем Амстердама, где при дефиците площади пешком ходить проще, чем ездить на автомобиле, и даже при наплыве туристов знакомые лица вычленяются, оседают в памяти. Вот и Кондрашин превратился в знакомого, хотя и очень уважаемого, но ореол все же несколько потускнел.

Впрочем, после отъезда он, говорят, как музыкант, очень изменился, раскрепостился, стал гораздо смелее в интерпретациях. Раньше его порой упрекали в некоей заданности, холодноватости, приверженности канонам. А вот тут, когда на него свободой повеяло, это и на творчестве отразилось. Вполне возможно. Верю Петру Кондрашину, получившему последние записи своего отца и убедившемуся, насколько он как дирижер вырос. «Слушаешь, и кажется—другой человек»,— сказал Петр Кириллович. Да, верю. **Другой** человек, в **другой** жизни.

А в **нашей** жизни, более чем несовершенной, нередко безумной, унизительной, существуют тем не менее определенные правила, которыми именно в этих условиях люди руководствуются. На свободном, цивилизованном Западе они могут показаться непонятными, абсурдными, но у нас дают возможность отличать людей порядочных от непорядочных. Взаимные обязательства у нас обретают большую жесткость, неукоснительность, чем в свободном мире, потому что, если их нарушить, можно не только чью-то душу травмировать, но и уничтожить самую жизнь. Примеров достаточно. И как бы нам ни хотелось из сегодняшнего дня вырваться, мы в нем заперты, замкнуты, и только тут нам дано либо сберечь, либо сгубить, либо собой пожертвовать, либо кем-то. И находятся такие, кто с о з н а т е л ь н о приносит в жертву — кого же? — собственных детей.

Что бы ни говорил, скажем, Аркадий Шевченко (беседа с которым была не так давно опубликована в «Советской культуре»), занимавший крупный пост в системе МИД СССР и оставшийся после в США, что бы он ни говорил о своем болезненном разочаровании в коммунистических идеалах, о выношенном решении бороться с тоталитарной Системой, с режимом, удушающим личность, над всеми этими рассуждениями и в первую очередь я вижу тех, кого он в жертву принес — жену, покончившую самоубийством, детей, осиротевших, в самое пекло брошенных, чью судьбу Шевченко не предвидеть не мог, и это навсегда останется на его совести.

То, что сковывало, оскорбляло, подталкивало к отъезду Кондрашина, пережили все без исключения наши артисты, и самые замечательные, великие. И Коган, и Гилельс, и Ростропович, и те, кто уехал, и те, кто остался, кто умер, и кто живет сейчас. Все они подвергались тем же надругательствам, унижениям. На них давили, ломали им планы, отменяли гастроли, отнимали то, что они зарабатывали, хамили, не отвечали на телефонные звонки, на письменные послания. И все это продолжается по сей день. Чего стоит введенная только-только паспортизация музыкальных инструментов, неважно чьих, государственных или личных, препятствующая якобы их вывозу и продаже за рубежом, преподносимая как борьба со спекуляцией (мы все с нею боремся, продолжаем бороться, не замечая будто, что скоро спекулировать попросту станет нечем!), а в сущности — новая форма мордования артистов, желание прижать их к ногтю, невзначай будто оскорбить, и удивиться простодушно, что, мол, надо же, обиделись...

Это может закончиться — и непременно закончится — еще одним оттоком, еще одной эмиграционной волной.

Зачем, хочу спросить, загонять людей в угол, когда в отчаянии, полной деморализованности в них обнаруживаются худшие стороны, что при нормальной жизни, нормальных условиях, нормальных отношениях дремлют, отмирают и могут не проявиться никогда?

Я видела письма, написанные Кондрашиным в «инстанции». По содержанию они почти точь-в-точь совпадают с письмами Леонида Когана, скажем, П. Н. Демичеву. Ни тому, ни другому не ответили. Коган умер, а точнее, погиб, истерзанный, затоптанный чиновным бездушием. Кондрашин уехал, но это тоже в сущности была смерть: он знал, на что шел и что долго не выдержит.

После случившегося инфаркта жена не давала ему поднимать тяжелое, сама в поездках хваталась за чемоданы. Но оградить его от перегрузок моральных ни ей, никому не было под силу, потому сам Кирилл Петрович влезал в ситуации, которые мог бы иной раз обойти. Он чего-то очень существенного недопонимал. Даже язык у него, если судить по той же книжке, да и по впечатлениям людей, его знавших, отражал такую путаность, двойственность: скажем, он дает имярек предельно сжатую характеристику: это — настоящий коммунист. А спустя недолго с раздражением напускается на запреты, мешающие работать, жить, не замечая, выходит, никакой тут связи, логики. И когда являлся в верха что-то «пробивать», вдруг невольно, хотя желал их переубедить, начинал говорить в их манере, употребляя те же классические формулировки, что были у них в ходу. И, больше того, в какой-то момент начинал ощущать неопровержимость их аргументов, обоснованность их беспокойств, и уже готов был с ними согласиться, но все-таки еще раз спросить... а, может быть, разрешат? Музыка-то, он знал, замечательная...

Кажется, не чувствовал он дистанции, разделяющей артиста и власть, поэта и цензора,— дистанции, которая даже при жесточайшей тирании не дает властям до Поэта дотянуться. Не чувствовал, и от этого тоже у него возникал разлад с самим собой.

А ведь будучи профессионалом высокого класса, он неминуемо приближался к постижению тех истин, что искусство, а музыка в особенности, раскрывает в предельной полноте, чистоте. И там нет места недомолвкам. Действительно, либо — либо. И всякое вранье, виляния наказываются самым страшным для художника — немотой. Об этом и Толстой говорил. Чем больше талант, тем непреодолимее искус — говорить правду.

Но он вырос в системе и старался не вступать с ней в конфликт. Его награждали, выдвигали, что и льстило, и вместе с тем обязывало... Но когда он являлся в верха о чем-то просить, скажем, разрешить к исполнению такое-то произведение такого-то автора, почему-либо не приветствуемого властями, чем-то перед ними провинившегося, на равных с ним не желали говорить, забывая как бы начисто о недавних кулуарных общениях, приобщенности к святая святых. Коли он заговаривал о неприятном для них, то мгновенно ставился в рамки назойливого просителя, которого было не грех одернуть, даже прикрикнуть порой. После такого «холодного душа» он возвращался с сердечным колотьем, чувствуя себя не только униженным, но и обманутым.

Выезжать за границу Кондрашин начал с 1949 года, так что к концу семидесятых впечатлений у него накопилось достаточно, и выводы, как говорится, напрашивались сами собой. Тем более что он не довольствовался только бытовыми наблюдениями, но и в своих зарубежных турне покупал, изучал издания, названия которых в те годы страшно было произнести вслух. Теперь, правда, их цитируют в нашей прессе, и все же, признаться, как-то неспокойно порой бывает, нет-нет, а дрогнет что-то внутри. Какой-то, неосознанный даже, мгновенный тайный огляд: а не подсматривает, не подслушивает ли за тобой некто, перед кем на всякий случай стоит оправдаться... Даже теперь, а тогда? Двоемыслие, пожалуй, в ряду самых тяжких бед, причиненных людям Системой. Даже человека правдивого можно лгать заставить, но сознание его станет разодранным, занеможет душа. Ведь она-то, душа, знает, что ложь — грех, и не принимает никаких оправданий. В письмах Кирилла Петровича родным из Голландии как рефрен повторяется: молитесь за меня...

В последние годы своей жизни в СССР у него стала развиваться глухота: выпадали определенные частоты, что приводило его в отчаяние. Однажды на репетиции он не услышал вступление английского рожка за сценой, пришел домой, близкий к обмороку. Возможно, это было следствием нервного истощения, что подтверждает его последующая, двухлетняя работа с западными оркестрами, где не возникало подобных проблем. А вот дома, с родным коллективом он почувствовал себя уязвимым, беззащитным: о беспощадности оркестрантов знал на примере глохнувшего Маркевича, Файера, о которых рассказывались забавные анекдоты, но он при своей гордости, властности не мог допустить никаких шуток в отношении себя. И это можно понять, понять состояние человека, для которого пошатнулось главное, в чем он и от себя и от других требовал безупречности, и вдруг почувствовавшего свою неполноценность.

Он решил из оркестра уйти — из оркестра, им слепленного, являющегося его детищем. И никто его не удержал, не выразил хотя бы огорчения. Ни коллеги, ни «высокие инстанции». Как у нас принято: был человек — и нету. Обещали, правда, что его будут приглашать как дирижера-гастролера, что распространено повсюду на Западе, но у нас встречает опять же специфические, наши трудности: у нас, лишившись положения хозяина, со своей вотчиной распрощавшись, человек оказывается не у дел, выброшенным, никому не нужным. Мы не умеем чтить людей по заслугам, в нас не воспитано чувство признательности, мы не способны увидеть самих себя в завтрашнем дне: как поступили мы, так поступят и с нами, и наше желание все урвать сейчас, сию же минуту, бездушный, безмозглый прагматизм, застилающий наши глаза, обернется собственной нашей раздавленностью, мольбой о пощаде.

Кондрашина приглашали гастролировать за границу. Но и тут сложности возникли. При оформлении нужна была справка о состоянии здоровья, каждый год приходилось проходить перерегистрацию, а у него нашли аневризму аорты: могли выпустить, а могли и нет.

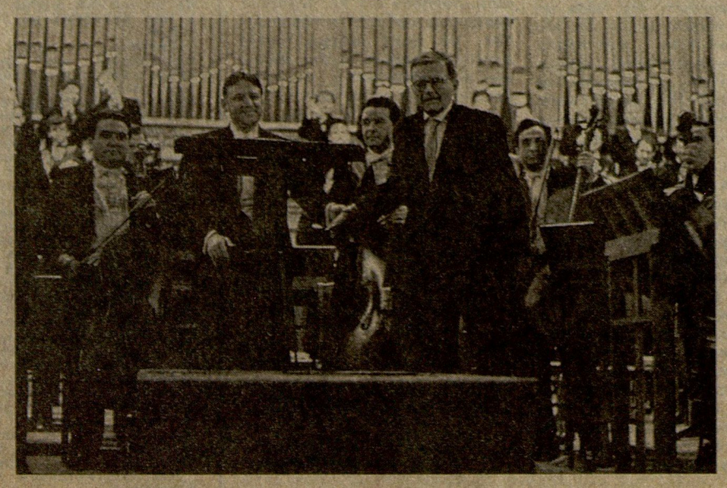
Каждый раз он пересекал границу с ощущением, что следующего раза не будет. Не допустят, запретят. Зачем тогда все? И тут он оказался в чужой власти, за него решающей, жить ему или помирать, дирижировать или поливать фикус. А он-то знал, как срабатывает Система: нет — и все.

Он остался. Это был прыжок в пропасть, странный, безумный с точки зрения тех, кто стоит на твердой почве, на том берегу. Возможно, совершил он его в состоянии смятенности. Потом вспоминали, что он договаривался о предстоящих дома, в Москве, встречах, затеял в квартире капитальный ремонт, размечал, планировал жизнь на месяцы вперед, с учетом несомненного своего возвращения, и вдруг... Но когда обсуждается чье-то самоубийство, тоже всплывают несуразности: зачем было в парикмахерскую идти, заказывать пальто, покупать новую мебель, а на следующий день... Нет, живым не понять. И разумным, сбалансированным не почувствовать грани, где все обрывается, рушится, где не может быть пути назад, нельзя отступиться. Черта подведена: а что там, дальше,— другая жизнь?..

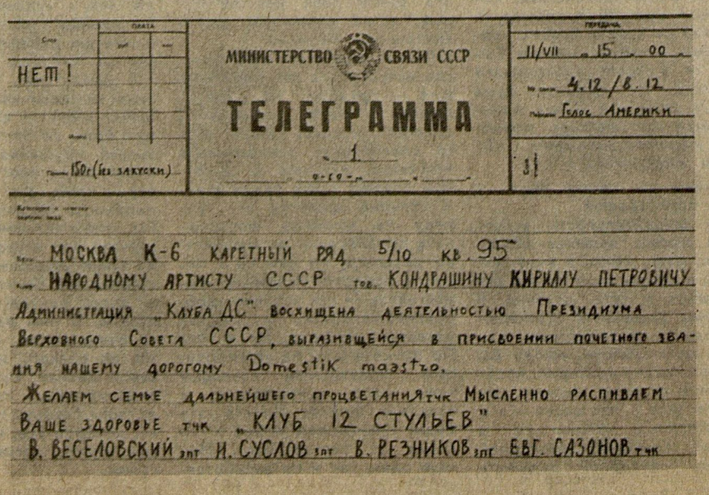
Однако его письма к жене свидетельствуют, что другой жизни так и не получилось, и сам он другим не стал, как ни хотелось ему переменяться, избавиться от груза, накопленного за шестьдесят семь лет, освободиться от «нашей специфики», на фоне западной жизни, при западном окружении, осознаваемой им все с большим стыдом, как уродство. «Я надеялся,— он писал,— получить свободу, но от себя не убежишь. Поэтому и полной свободы я не обрел — остановился на полпути». Казалось бы, и быт у него переменился, и возможности — все бы забыть, отбросить, и в первую очередь себя, прежнего! А вот не получалось. «Конечно, я знал, на что я шел, но все же не ожидал, что так ужасно будет жить в двух жизнях одновременно...»

Его жену, вернувшуюся в СССР, не выпускали за границу все годы, и на похоронах мужа она тоже быть не смогла. Могилу с черной мраморной плитой на кладбище к северу от Амстердама, с надписью «Кирилл Кондрашин. 1914—1981» увидела спустя девять лет. Шла по ухоженным аллеям, в благолепии, чинности, свойственных тамошнему укладу, сопровождаемая деликатным спутником, беседуя с ним о чем-то, и вдруг он сказал: тут. И сама не зная, до сих пор не понимая, что с ней тогда случилось, она бросилась на землю, к куску черного гладкого мрамора, и забилась, закричала, завыла, как на том голландском кладбище, наверное, никто никогда не слышал. Это были вопли, это были крики из нашей жизни. И в ней, в этой жизни, была любовь, было горе — было все.

Надежда КОЖЕВНИКОВА.



● Вжотрись в это лицо — оно несколько изменилось из-за нижнего выступающего дирижера...



● Шуточная поздравительная телеграмма клуба «12 стульев» «Литературной газете».

Фото из семейного архива.